

Научная статья

УДК 82-6

DOI: 10.20323/2499-9679-2022-2-29-28-38

EDN: EFZZMJ

Формы выражения исповеди-проповеди в письмах В. Г. Белинского к М. А. Бакунину 1837 г.

Марина Дмитриевна Кузьмина

Кандидат филологических наук, доцент кафедры книгоиздания и книжной торговли Высшей школы печати и медиатехнологий ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна». Россия, 191186, Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 18; д. 48
mdkuzmina@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1293-800X>

Аннотация. В 1837 г. началась переписка В. Г. Белинского с М. А. Бакуниным, продолжавшаяся около трех лет. Столько же продолжались их сложные отношения «дружбы-вражды», отразившиеся в эпистолярном общении. В традициях эпохи они писали друг другу исповедальные письма. По словам Белинского, полная откровенность – первое условие дружбы и дружеской переписки. В исповедальных признаниях молодой критик и его корреспондент доходили до самобичевания, открывая друг другу, как духовный сын духовному отцу, свои грехи. В роли первого по большей части выступал Белинский, Бакунин же удерживал за собой роль второго. Такой характер исповедального диалога был не в последнюю очередь обусловлен их увлечением немецкой идеалистической философией и под ее влиянием – стремлением к искоренению пороков и самосовершенствованию. Одновременно оба участника переписки и проповедовали друг другу. Чаще это делал Бакунин. Но по мере развертывания эпистолярного общения Белинский все чаще актуализировал интенции проповеди, в которой излагал свои воззрения и старался наставить адресата на правильный образ мыслей. Некоторые письма он весьма точно – и по объему, и по содержанию – назвал «диссертациями». Большая часть его писем 1837 г. несет в себе элементы проповеди-«диссертации». Оба жанра – исповедь и проповедь-«диссертация» – сохраняли актуальность в переписке «друзей-врагов», подпитываемые установкой на искренность эпистолярного общения. Оба жанра по-своему «поддерживались» и «продолжались» целым рядом «смежных», в роли каковых выступали прежде всего дневник, автобиография, биография и литературный портрет.

Ключевые слова: В. Г. Белинский; М. А. Бакунин; переписка; эпистолярный жанр; исповедь; проповедь; дневник; автобиография; биография; литературный портрет

Для цитирования: Кузьмина М. Д. Формы выражения исповеди-проповеди в письмах В. Г. Белинского к М. А. Бакунину 1837 г. // Верхневолжский филологический вестник. 2022. № 2 (29). С. 28–38. <http://dx.doi.org/10.20323/2499-9679-2022-2-29-28-38>. <https://elibrary.ru/EFZZMJ>

Original article

Genre forms of expressing confession-preaching in letters from V. G. Belinsky to M. A. Bakunin 1837

Marina D. Kuzmina

Candidate of philological sciences, associate professor, the department of book publishing and book trade, Higher school of printing and media technologies of Saint-Petersburg state university of industrial technology and design. Russia, 191186, St. Petersburg, Bolshaya Morskaya st., 18, 48.
mdkuzmina@mail.ru, <https://orcid.org/0000-0002-1293-800X>

Abstract. In 1837, V. G. Belinsky began correspondence with M. A. Bakunin, which lasted for about three years. Their complicated «friendly-hostile» relationship, reflected in their epistolary communication, lasted just as long. In the traditions of the time, they wrote confessional letters to each other. According to Belinsky, complete frankness is the first requirement for friendship and friendly correspondence. In their confessional letters, the young critic and his correspondent went as far as self-deprecation, revealing their sins to each other as a spiritual son to a spiritual father. For the most part, Belinsky was in the role of the former, while Bakunin played the role of the latter. This nature of their confessional dialogue was not in the least caused by their fascination with German idealist philosophy and, under its influence, with their desire for the eradication of vices and for self-improvement. At the same time both participants in the correspondence were preaching to each other. It was Bakunin who did this more often. But as their epistolary communication

unfolded, Belinsky also increasingly activated his preaching intentions, where he stated his views and tried to instruct the addressee in the right way of thinking and acting. He very accurately called some of his letters «dissertations», in terms of volume and content. Most of his letters of 1837 contain at least some elements of a «dissertation» sermon. Both genres – confession and preaching «dissertation» – remained relevant in the correspondence of «friends-foes», fueled by the spirit of sincerity in epistolary communication. Both genres were «supported» and «continued» in their own way by a number of «related» genres, primarily the diary, autobiography, biography and literary portrait. The first two, referred to as «ego texts», are centered on the personality of the writer. They complement each other: if the expansion of reflection is presented in the diary, then the narrative plays a decisive role in the autobiography.

Key words: V. G. Belinsky; M. A. Bakunin; correspondence; epistolary genre; confession; preaching; a diary; autobiography; biography; literary portrait

For citation: Kuzmina M. D. Genre forms of expressing confession-preaching in letters from V. G. Belinsky to M. A. Bakunin 1837. *Verhnevolzhski philological bulletin*. 2022;(2):28–38. (In Russ.). <http://dx.doi.org/10.20323/2499-9679-2022-2-29-28-38>. <https://elibrary.ru/EFZZMJ>

Введение

Основным корреспондентом, другом и одновременно «врагом» В. Г. Белинского в 1837–1839 гг. был М. А. Бакунин. Посвятившая их взаимоотношениям специальное исследование В. Г. Березина очень точно охарактеризовала эти взаимоотношения словами «дружба-вражда» [Березина, 1952, с. 44]. Именно так – амбивалентно – видел свои отношения с Бакуниным и сам Белинский: «Три года был я дружен (здесь и далее курсив авторов цитируемых сочинений. – М. К.) с Бакуниным, <...> сходил, расходился с ним. <...> я согрешил в лице М. А. Бакунина, называя насильственную связь дружбою» [Белинский, 1956, с. 354–355].

В первый год эпистолярного общения, 1837, с июня по ноябрь, у Белинского с Бакуниным продолжалась, по характеристике Белинского, «нравственной переписка» [Белинский, 1956, с. 335], включавшая в себя «спор об аккуратности и гривенниках» [Белинский, 1956, с. 192]. Поводом для него послужил вопрос о действительности, решавшийся друзьями по-разному. В то время как Бакунин стоял на позиции крайнего фиктеанства и развивал концепцию субъективного идеализма, утверждая апофеоз внутренней идеальной жизни, независимой от внешней, – Белинский переживал период безденежья, был вынужден решать множество проблем и опытным путем пришел к убеждению, что внутренняя жизнь связана с внешней и что эта связь естественна. Доверительно-исповедальный эпистолярный диалог двух друзей с этого момента включает в себя все более ярко выраженные элементы полемики, проповеди-«диссертации». Последний термин принадлежит самому Белинскому, назвавшему так некоторые свои письма к Бакунину (ср.: «Я остаюсь при моих убеждениях, выраженных мною в моих *трех длинных диссертациях о действительности...*» [Белинский,

1956, с. 308]). Он весьма удачен – действительно, это объемные письма, нацеленные на аргументированное изложение системы взглядов. Элементы исповеди, как и проповеди-«диссертации», актуализированы в большинстве писем «друзей-врагов», и эти два ведущих жанра их переписки «поддерживаются», «продолжаются» еще целым рядом жанров, выступающих в роли «смежных».

Жанры дневника и автобиографии

Прежде всего в роли «смежных» выступают жанры дневника и автобиографии. На их актуализацию в эпистолярной Белинского указала Е. Ю. Тихонова. По ее наблюдению, письма молодого критика представляют собой «уникальную эпистолярную эпопею» [Тихонова, 2006, с. 35], включающую в себя, с одной стороны, «уникальное автобиографическое повествование» [Тихонова, 2003, с. 227], а с другой – не менее уникальный дневник: «Переписка Белинского, сохранилась она полностью, представляла бы собой подробный дневник его жизни и внутреннего развития. Вести дневник для самого себя он считал бы бессмысленным, мало нуждаясь во внутреннем подведении итогов...» [Тихонова, 2006, с. 116]. Это, бесспорно, так. Нужно говорить о своеобразном эпистолярном дневнике и своеобразной эпистолярной автобиографии Белинского. Оба жанра вырастают из исповедально-проповеднической установки автора писем на искренность.

К жанру дневника с полным основанием можно отнести ту характеристику, которую М. С. Уваров в свое время дал исповеди, – «самоотчет души» [Уваров, 1998, с. 26]. Даже более того, если для исповедально-покаянной авторефлексии это лишь исходная точка: за «самоотчетом души» следует покаянное самоосуждение, – то в дневниковой он сам по себе может составлять основное содержание текста (см.: Вьолле, Гречаная, 2006, с. 65–73; Егоров, 2003, с. 134–

165; Михеев, 2007, с. 32–58). Хотя Белинский в первый год переписки с Бакуниным ни одно из своих посланий не помечает несколькими датами, как делали его современники и как впоследствии будет делать он сам, некоторые из них, исходя даже из объема, писались, очевидно, в течение нескольких дней. Да если и в один, – они писались регулярно, часто, и, взятые в совокупности, представляют собой подобие развернутых дневниковых записей. Каждое из них насыщено авторефлексией и несет на себе печать свежести, непосредственности впечатлений, переживаний, мыслей, которые только что родились у автора и сразу поверяются бумаге, то есть обнаруживают характерные жанровые черты дневника. Обе эти черты – авторефлексия и непосредственность – обретают особую экспансию за счет частоты и подробности писем. Как и авторы дневника, Белинский-эпистограф свободно отбирает события внешней жизни, подчас не самые значимые, и свободно же на них откликается (напр.: «Я познакомился с Левашевыми; в пятницу был у них. <...>. Добрые люди, прекрасные люди, но их мир не наш мир» [Белинский, 1956, с. 203]), однако, в традициях дневникового жанра, эмпирические факты чаще всего влекут за собой его напряженную авторефлексию: «Еду в Петербург, буду там без вас, моих друзей, следовательно, буду один – при этой мысли мне больно, грустно, но и отрадно в то же время. <...>. Хочу страдать, но жить, то есть сознавать себя хотя бы в грустном чувстве добровольного лишения того, что составляло мою жизнь» [Белинский, 1956, с. 203], «Немецкий язык мой идет плохо. <...>. Читать Фихте тоже не хочется, потому что философский язык прост и однообразен...» [Белинский, 1956, с. 204] и т. п. Эта порожденная эмпирическими фактами авторефлексия (интериоризация произошедшего вовне, очень аутентичная для дневникового жанра (см. подр., напр.: Егоров, 2003, с. 146–147), в свою очередь, приводит автора к суждениям философско-афористического плана, имеющим универсальный смысл. «Добрейший Василий Боткин с каждым днем делается добрее, – сообщает, например, Белинский, – хотя, по-видимому, это и невозможно. О себе не хочу ничего говорить, потому что это самая гадкая и до смерти надоевшая мне материя» [Белинский, 1956, с. 203]. Как можно видеть, он от наблюдений о внешней реальности (Василий Боткин) переходит к самоанализу. А от него – к философским обобщениям: «Человек имеет право говорить о себе только в отношении абсолютной

жизни, которою он наслаждается, а повторять целую жизнь: я неуч, я дурак, я жалок, я смешон – глупо и пошло» [Белинский, 1956, с. 203], – после чего возвращается к размышлениям о себе: «Буду хорош и дурен молча» [Белинский, 1956, с. 203], – сопрягаемым с эмпирикой: «Петербург разделит мою жизнь...» [Белинский, 1956, с. 203]. Таким образом, органической частью исповедального «самоотчета души» в эпистолярном дневнике Белинского оказываются элементы проповеди-«диссертации». Актуализация черт дневника, с характерной для него синтетичностью и тяготением к слиянию жанровых границ, сама по себе обуславливала их непротиворечивое сочетание. Дневниковая жанровая основа, актуализируя свежесть, непосредственность записей, делаемых автором сию минуту, без предварительного тщательного обдумывания, и делаемых им прежде всего для самого себя (лишь в последнюю очередь, в отдаленной перспективе – для читателя, которого дневник, пусть и в меньшей степени, чем эпистолярный и иные жанры, предполагает), очень работает на действенность и исповеди (примечательно, что исследователи дневникового жанра выделяют такую его разновидность, как покаянный дневник, «строящийся по модели исповеди» [Вьолле, Гречаная, 2006, с. 66]), и проповеди, расширяет их возможности. Размыкает границы первой, а следовательно, позволяет дозировать самообличение, сменить рефлексию о своих недостатках – рефлексией о своих достоинствах, перевести исповедь – в проповедь. Одновременно создает представление о полноте авторского самораскрытия и, конечно же, о предельной доверительности и искренности исповедального монолога. Слово проповеди, помещенное в дневниковый контекст, в свою очередь, тоже облекается в форму чарующей доверительности и искренности. Вместе с тем внешне существенно ослабляется его категоричность, которая могла бы вызвать у адресата неприятие. Так что слово проповеди в дневниковом контексте обретает своеобразную свехубедительность.

В то время как дневниковый жанр ведет Белинского-эпистографа по пути углубления рефлексии, автобиографический – эту рефлексию если не отменяет, то ослабляет за счет присущего ему нарратива. Но без нарушения логики текста, ведь и дневник, и автобиография принадлежат к «эго-текстам» (см. о них подр.: Михеев, 2007, с. 5–159; Митина, 2008), центрируемым на личности пишущего, – что, хотя и не в полной

мере, свойственно и письму, в первую очередь дружескому, самому личному и свободному, поэтому на его базе оказался возможным подобный жанровый синтез (см. об элементах письма в дневнике: Симоне-Тенан, 2006, с. 155). В этом отношении уместно вспомнить очень справедливую характеристику, данную Т. П. Зориной письму: «...оно не имеет точно и строго очерченных жанровых рамок» [Зорина, 1970, с. 40]. Н. Н. Кознова в свое время подняла вопрос о взаимосвязи мемуарно-автобиографического, дневникового и эпистолярного жанров, отстаивая позицию, что их синтез осуществляется на основе первого, выступающего, по ее мнению, в роли метажанра [Кознова, 2009]. Не прибегая к этому термину, М. Михеев, в сущности, рассматривал как метажанр дневник: письмо наряду с другими жанрами (такими, как записные книжки, ежедневник, разговор с самим собой, исповедь и пр.) относится, по его мнению, к «пред-тексту» дневника [Михеев, 2007, с. 85]. Как показывает наше исследование, связь может быть и обратной: насколько письмо может выступать «пред-текстом» дневника, настолько же дневник может выступать «пред-текстом» письма. Переписка Белинского дает возможность поставить вопрос и о подобной двойной связи эпистолярного и мемуарно-автобиографического жанра – и, следовательно, о статусе письма как метажанра.

В эпистолярной Белинского – и именно на основе эпистолярного жанра – автобиографический и дневниковый дискурсы тесно взаимосвязаны. Размышляя о себе, молодой критик приводит факты из своей жизни, – с одной стороны, подтверждающие начатую рефлексию, с другой – становящиеся поводом для ее последующего продолжения.

Автобиографический нарратив выполняет в письмах Белинского целый ряд функций. Прежде всего он углубляет исповедально-покаянную рефлексию. Называя Бакунину грех, Белинский старается не быть голословным и приводит конкретные примеры проявления этого греха. Так, каюсь в самолюбии, автор-эпистограф самоуничтожается до того, что выставляет себя на посмешище (тем самым, в общем-то, и борется с греховной страстью: Святые Отцы, как известно, советуют заменять ее противоположной ей добродетелью (см., напр.: Дамаскин, 1873, с. 10), рисует себя героем анекдота – и с самоиронией, и с глубоким сокрушением. Он признается Бакунину: «Я никогда не забуду, как ты в первый раз застал меня у Бееров за фортепьяно; что мне

должно было делать? смеяться вместе с тобою над моею неспособностью, своим неумением? Кажется, что на моем месте всякий поступил бы так; но я вспыхнул, вспотел, почти задрожал, как виртуоз, который дает первый концерт свой собранию строгих знатоков» [Белинский, 1956, с. 169]. Однако чаще, всецело поглощенный сокрушением, Белинский делает признания без самоиронии и какой-либо доли юмора, – подобные этому: «Я принялся было за немецкий язык и не успел, потому что, как и во всем, хотел усовершенствовать себя не для себя, а как будто для выставки к известному дню. Гнилое зерно не принесло плода» [Белинский, 1956, с. 175]. В последних словах можно увидеть реминисценции из евангельской притчи о сеятеле (Мф. 13: 3-8) и о бесплодной смоковнице (Лк. 13: 6-9), отчасти о «лукавом рабе и ленивом», который зарыл свой талант в землю (Мф. 25: 24-30), больше же всего – отсылку к словам Христа о древе, которое познается по плодам («...всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. <...>. Итак, по плодам их узнаете их» – Мф. 7: 17-20). За счет актуализации религиозного дискурса это горькое суждение Белинского о самом себе преподносится как искреннее, покаянное. Любопытно, что оба приведенных нами автобиографических фрагмента содержат элементы не только библейской, но и художественной образности (сравнения: «как виртуоз, который дает первый концерт собранию строгих знатоков», «как будто для выставки к известному дню»), столь характерной для автобиографического жанра. Исповедально-покаянной же интенции они несколько чужеродны и даже мешают. Ей вообще в большинстве случаев мешает автобиографический нарратив, поскольку переключает рефлексию в сюжетное, достаточно занимательное повествование, с отвлекающими подробностями, системой персонажей, связанных разными отношениями, и т. п. Обремененный всем этим, автобиографический нарратив ослабляет исповедально-покаянную тональность – и мотивирует логичный переход от нее к другой, не менее важной для Белинского-эпистографа: позволяет ему рисовать себя и с положительной стороны, а Бакунина – с отрицательной и полемизировать с ним.

Отрицательная роль Бакунина как антигероя просматривалась, хотя и не педалировалась автором-эпистографом в вышецитированном анекдоте, где сконфуженный Белинский страдал, сидя за фортепиано, а Бакунин смеялся над ним,

не смог или не захотел понять его состояния и проявить сострадание. В письмах молодого критика приводится целый ряд подобных автобиографических фрагментов, где он и его адресат находятся в подобных отношениях. Причем от фрагмента к фрагменту ослабляется напряженность исповедально-покаянной рефлексии, и по мере того, как она ослабляется, пропорционально усиливается интенция обличения в адрес Бакунина: Белинский-автор и главный герой не берет на себя вину, следовательно, вина ложится на антигероя, который во всех сюжетах ведет себя недостойно. Ср.: «...я был весел, был счастлив, – вспоминает эпистолограф один из дней в имени Бакуниных Прямухино. – Как-то подошел к Т<атьяне> А<лександровне> (сестре Бакунина. – М. К.) и начал от избытка сердца болтать вздоры, которые были довольно пошлой формой истинного чувства. Подходишь ты <...>. “Что это такое, – говоришь ты, – новый способ делать комплименты, говоря дерзости”. Я чувствовал, что по всему моему телу, от лба до пяток, запрыгали острые иглы, что белье взмокло на мне и прилипло к телу...» [Белинский, 1956, с. 207]; «В другое время, – продолжает автор письма, переходя к следующему сюжету, – меня ужасно срезал за столом, по простоте своей, Илья; он срезал, а ты дорезал...» [Белинский, 1956, с. 207], – и комментирует произошедшее уже совершенно полемично: «И каждый раз, когда ты унижал меня перед всеми ними своими грубыми выходками, я чувствовал к тебе более, нежели досаду, более, нежели негодование, что-то похожее на ненависть» [Белинский, 1956, с. 207]. Таким образом, автобиографическое повествование планомерно переключает исповедь в проповедь-«диссертацию»; любопытно, что исповедь и проповедь – это как раз те жанры, которые генетически связаны с автобиографией: по мнению исследователей, именно в них некогда зарождалось автобиографическое повествование (см. подр.: Бахтин, 1979, с. 128; Михайлова, 1997, с. 9; Пригарина, 2011, с. 149).

Интенция проповеди реализуется под пером Белинского и в тех случаях, когда Бакунин не выступает в роли (анти)героя автобиографических сюжетов. Эти сюжеты просто предлагаются ему как читателю. Но они являются составной частью проповеди-«диссертации» Белинского – ее доказательной частью. На отстаиваемую им концепцию органичной взаимосвязи внешней и внутренней жизни личности работает уже сама ключевая установка автобиографического жанра,

которая, по характеристике современного исследователя, состоит в «...устранении противоречия между этими двумя сторонами человеческого существования, что позволяет воспринимать мир и „я” как единое целое» [Калугин, 2015, с. 21]. Упрочивая свои позиции в споре, Белинский пользуется всей полнотой жанровых возможностей. Так, он вводит достаточно развернутый автобиографический нарратив с целью подтвердить свое убеждение, что внутренняя жизнь зависит от внешней: «Я не только потонул в долгах – я живу на чужой счет <...>. Я взял к себе брата, которого от души люблю, который много обещает в будущем, чтобы передать ему все, что есть во мне хорошего, и предохранить его от всего, что есть во мне дурного <...>. Чтобы ему не было скучно, чтобы он с юных лет имел друга, я взял к себе племянника, которого, впрочем, люблю для самого него и для которого хотел сделать по возможности все то же, что и для брата. А сделать все это я мог не иначе, как любовью <...>. И что же? Я не успел ни в чем. Видя их дурно накормленными, еще хуже одетыми, мучимый моими нуждами, сознанием своего падения, я одичал в семействе и, вместо дружбы и откровенности, возбудил в них к себе что-то вроде боязливое уважения. Вместо того, чтобы с любовью и кротостью исправлять недостатки брата, происходящие от его пылкого характера и дурного воспитания, в котором он несколько не виноват, я ругал его, как пьяный сапожник, доводимый до ожесточения моими неудачами» [Белинский, 1956, с. 171–172] и т. п. Нетрудно заметить, что подобные повествовательные вставки выполняют помимо функции покаянных признаний – функцию оправдания автора-героя и в этом смысле выступают в качестве важной корректировки к его исповедально-покаянной рефлексии. Автобиографический дискурс в эпистолярной Белинского реализует тот свой потенциал, о котором говорил И. Чубаров, отмечавший, что источник каждой автобиографии (да даже и биографии) – «желание признания / власти», «признания другим человеком» [Чубаров, 2001, с. 393], поясняя, что «...это желание признания <...> может быть вполне невинным и сугубо психологичным, как одобрение и поддержка со стороны другого...» [Чубаров, 2001, с. 412], однако «...оно может быть идеологизировано, и как таковое целиком тотализовать дискурс и вообще любой творческий процесс, свести его к точке, пустой идее, голому мимесису и т. п.» [Чубаров, 2001, с. 412]. В эпистолярной

Белинского актуализированы обе означенные интенции. Но ни та, ни другая, ни две в совокупности не получают экспансии, поскольку молодой критик пишет все же письмо, а не автобиографию, автобиографические вкрапления вводятся им дозированно.

Биографический жанр

Автобиографический план под пером Белинского-эпистолога, в частности, «разбавляется» и ослабляется за счет переключения его в плоскость собственно биографического. Но на поверку тем самым усиливает свои позиции – и интенции добиться «одобрения и поддержки, тотализовать дискурс». Примечателен уже тот факт, что биографический нарратив у Белинского зачастую вырастает из автобиографического. Это хорошо видно на примере приводившихся нами автобиографических фрагментов, где помимо главного героя изображались в одном случае – его брат и племянник, в другом – сестра Бакунина Татьяна Александровна, сам Бакунин в качестве антигероя, в прочих – иные лица. Справедливости ради, нужно отметить, что иногда биографический нарратив обретает относительную самостоятельность – Белинский приводит развернутые сюжетные фрагменты. Их действующим лицом может быть как Бакунин, которому автор письма напоминает те или иные события из его жизни, так и кто-нибудь из общих знакомых, членов кружка. Скажем, Белинский сообщает своему адресату новости, связанные с И. П. Ключниковым и А. П. Ефремовым. Но чаще он все же предельно редуцирует повествование, актуализируя черты биографического жанра, который может выступать и в анарративном варианте, – литературного портрета, получившего плодотворное развитие в мемуарно-автобиографической литературе и литературной критике, выразившегося также и в других жанрах – например, в проповеди (см.: Дмитриев, 2000). В литературоведении этот жанр понимается неоднозначно – в его поле включают, во-первых, портреты литераторов (под пером Белинского-эпистолога они представлены достаточно широко – это члены кружка Станкевича), во-вторых, портреты нелитераторов, написанные литераторами (к каковым Белинский и как автор пьесы «Дмитрий Калинин», и как эпистолог, проявлявший незаурядный литературный талант, несомненно, имеет отношение) (см. также: Елизаветина, 1986, с. 239). Белинский осваивал его параллельно в письмах к Бакунину

и в литературно-критических работах.

Указывая на способность литературного портрета к редуцированию нарратива, один из первых крупных исследователей этого жанра В. С. Барахов соотносил его с портретом в живописи. «Основной целью как писателя, автора литературного портрета, так и творца живописного портрета, – отмечал исследователь, – является создание художественного образа...» [Барахов, 1985, с. 29]. Итак, в основе портрета – авторская концепция личности. Она может создаваться и посредством повествования – о жизненном и творческом пути (это прерогатива, например, такой разновидности жанра литературного портрета, как силуэт), и преимущественно анарративно – через характеристику мировоззрения, своеобразия творческих принципов литератора и т. п. (прерогатива, скажем, очерка творчества), а может представлять синтез того и другого (мемуарный очерк). На практике жанровые разновидности зачастую трудноразличимы, портрет предстает синтетичным. Думается, это происходит по двум основным причинам. Во-первых, потому, что рефлексия, авторская концепция героя поглощает элементы повествования. К этому выводу пришел в свое время М. Т. Мезенцев, изучая литературные портреты в работах критиков. «Здесь явно проявляется основная особенность портрета как жанра литературной критики, – заключал он, – автор не стремится к строгой последовательности изложения материала. <...>. Мысль его свободна, ассоциативна, автор охотно переходит к рассуждениям эмоционального плана...» [Мезенцев, 1971, с. 78]. Во-вторых, в литературном портрете размывается грань между словом и поступком, событием в жизни героя. По наблюдению В. И. Конькова, «...в поле зрения автора литературного портрета попадает та часть деяний и поступков портретируемого, которая носит отпечаток его личности, мировоззрения и является результатом его творческого отношения к окружающему миру. Происходит символизация проявлений жизненного начала, и поступок приравнивается к слову. <...>. Закономерен и обратный ход: слово приравнивалось к поступку» [Коньков, 2000, с. 36]. Этим обусловлена непервостепенность во многих литературных портретах собственно повествования и поглощенность его рефлексией.

Под пером Белинского-эпистолога произошло сочетание двух свободных, открытых, синтетичных жанров – литературного портрета и письма.

В письмах молодого критика представлена целая галерея литературных портретов: Бакунина, Ефремова, Станкевича, Боткина и др. Причем в большинстве случаев их объем тяготеет к минимальному. Это своего рода портреты-миниатюры. Но, что любопытно, многие из них создаются в целом ряде текстов – от письма к письму. Автор-эпистограф повторяет и закрепляет ранее обозначенные им портретные характеристики, уточняет их и дополняет. Его «портретная галерея» достаточно разнообразна. Вероятно, сказывался и опыт Белинского-читателя многочисленных мемуарно-автобиографических произведений, и опыт Белинского-критика, и, наконец, сыграла роль жанровая специфика письма.

Обращение Белинского-эпистографа к жанру литературного портрета и его «минимизация» связана, во-первых, с самой ситуацией эпистолярной коммуникации: то и другое имеет место в случаях, когда сумма знаний автора письма и адресата о главном герое – общем знакомом одинакова, у автора нет новостей, либо он по той или иной причине не хочет их сообщать. Как бы ни обстояло дело, во-вторых, – он нацелен прежде всего на рефлексию. Его литературные портреты-миниатюры аналитичны. Они соотносятся с биографическим повествованием приблизительно так же, как с автобиографическим повествованием соотносятся фрагменты дневникового характера.

Биографический дискурс, и в варианте нарратива, и в варианте рефлексии, с одной стороны, разнообразит эпистолярный текст Белинского (разумеется, прежде всего в том случае, когда речь заходит не о Бакунине, а о третьем лице), ослабляя напряжение исповеди и категоричность проповеди; позволяет сменить тему, свободно-дружески поговорить с адресатом письма о чем-то стороннем и, возможно, сблизиться с ним, сойдясь во мнениях об общем знакомом. С другой же стороны, в сфере биографического дискурса, как в варианте нарратива, так и в варианте рефлексии, Белинский неостановимо продолжает напряженный исповедально-проповеднический монолог. Нетрудно заметить, что он не просто предается воспоминаниям, например, о прошлом Бакунина, а тщательно отбирает факты, включая их в свою концепцию и полемизируя с его концепцией. Ср.: «Ты в долгах по уши; надежных средств к жизни у тебя нет никаких; ты взялся за графа переводить книгу <...> Ты знал, что такого рода труды не твое дело, и взялся за них. Честно

ли это? <...>. Если граф подлец, это не дает тебе права быть подлецом <...> уезжая в Прямухино вследствие самой святой потребности своей души (как то особенно было перед Пасхою), ты бросаешься то к тому, то к другому, чтобы достать нужную для поездки сумму <...> займы растут, растут, растут...» [Белинский, 1956, с. 170]. Этот биографический фрагмент очевидно соотносится с тем автобиографическим, в котором Белинский рассказывал о своих материальных трудностях, включив в повествование образы брата и племянника. Тем самым эпистограф подчеркивает, что он и его адресат оказались в похожих жизненных обстоятельствах. Он подчеркивает и личное сходство между собой и своим адресатом, рисуя его, как и себя, в чернотелых тонах (Бакунин поступил непорядочно, но руководствовался «благородным расчетом»; без зазрения совести живет на чужой счет, но испытывает «святую потребность души»). Таким образом, применяет к нему и к себе единую систему оценок. Тем разительнее на фоне этого сходства – различие позиций: Бакунин преспокойно живет на чужой счет, тогда как для Белинского это больно, трудно; Бакунин настойчиво игнорирует внешнюю жизнь и абсолютизирует внутреннюю, тогда как Белинский не считает возможным их разделять. Приведенный в письме сюжет развенчивает позицию адресата и подтверждает позицию автора. Итак, биографический нарратив выполняет функцию контраргумента в проповеди и полемике автора с адресатом. «Теперь, Мишель, – заключает Белинский, – я прошу тебя быть добросовестным <...>: неужели все это не имеет никакого дурного влияния на твой дух и не мешает несколько твоей внутренней жизни? Если *нет*, то ты слишком высок для меня, и я не в состоянии понять тебя; если *да*, то ты напрасно увидел признаки конечного падения в моем письме об аккуратности и гривенниках» [Белинский, 1956, с. 170–171].

Ту же функцию выполняют, в большинстве своем, и литературные портреты-миниатюры. Рассыпанные по письмам, продолжающиеся из текста в текст и потому как бы опутывающие эпистолярный монолог Белинского довольно плотной сетью, они выстраивают четкую и устойчивую систему персонажей. Характерно, что система персонажей, наряду с композицией текста, выступает наиболее органичной формой развертывания литературного портрета. К каждому из них в своей «галерее» Белинский, как правило, применяет ту же самую шкалу оценок,

что и к себе и к Бакунину, поэтому их образы, в большинстве своем, получают также черно-белыми – составленными из отрицательных и положительных черт, и потому живыми, художественно убедительными. Проведенный анализ позволяет автору установить своего рода иерархию. Так, Ключников и Ефремова он ставит ниже, чем себя и Бакунина, Станкевича – выше, отказывая Бакунину в праве даже и судить о нем («...он не наш, и его нельзя мерить на нашу мерку» [Белинский, 1956, с. 164]), еще выше ставит Боткина, облик которого даже обрисовывает в агиографических традициях: «После твоих сестер это первый святой человек, которого я знаю» [Белинский, 1956, с. 179]), – наконец, на недостижимую высоту, – сестер Бакуниных, описывая и их в этих традициях («...они давно уже живут в царстве любви, в Царстве Божиим...» [Белинский, 1956, с. 161]).

Характерно, что чем выше вознесен герой, тем меньше автор-эпистограф о нем говорит. Идеализируя, он вместе с тем едва очерчивает образы сестер Бакунина, очевидно, не считая себя и своего адресата достойными касаться такого предмета. Буквально несколько слов сообщает о Боткине и не переключает рефлексию в нарратив – вероятно, опять же, потому, что не хочет давать своему адресату возможности обсуждать, «марать» Боткина, ставить под сомнение его достоинства. О Станкевиче, с которым это уже произошло: Бакунин судил и осудил его, объявив «падшим» [Белинский, 1956, с. 164] (в дружеском кружке оживленно дискутировался вопрос о его неудачном сватовстве к сестре Бакунина Любови Александровне: посватался, но, осознав, что не любит ее, раздумал на ней жениться), – Белинский, напротив, считает нужным объяснить подробно; подробно же он объясняется и о Ключникове и Ефремове. Размышляя о всех троих, полемизирует со своим корреспондентом: «...я не могу понять этого презрительного сожаления, этого обидного сострадания, с которым ты смотришь на падение Станкевича. Дай Бог, чтобы он восстал скорее, чтобы он скорее вышел из этой ужасной борьбы; но я бы первый презрел его, как подлеца и эгоиста, если бы он не пал, не пал ужасно» [Белинский, 1956], «Теперь об Иване Петровиче (Ключникове. – М. К.); неужели и он записан в твоём поминальнике как усопший? <...> не упрекать, не презирать должен бы падшего друга, а убедить его в любви силою любви, своим примером» [Белинский, 1956, с. 165]. Более того, Белинский настаивает даже,

что между Ключниковым и Бакуниным нет принципиальной «разницы» [Белинский, 1956]. О Ефремове же заключает, что он «...дитя, ребенок, и у него абсолютной жизни нет даже в представлении» [Белинский, 1956, с. 165–166], но, – утверждает Белинский, – «...до тех пор, пока Ефремов не заслужит в *обществе* титла *solidного* и *почтенного* человека, до тех пор я не буду ему чужой...» [Белинский, 1956, с. 166].

Приведенными суждениями, как и всей выстроенной иерархией «персонажей», в которой Бакунину отведено весьма нелестное место (автор, правда, облегчает для него положение тем, что делит это место с ним), Белинский полемизирует с Бакуниным, «трубившим» в письме к нему «с какою-то гордостью и жестокостью» о своем окончательном «восстании» [Белинский, 1956, с. 161] и противопоставлявшим себя другим – безнадежно «падшим». Белинский полемизирует с ним, нарочито отвергая категоричность его оценок и находя для друзей смягчающие обстоятельства, в том числе внешние – прежде всего физическое и материальное неблагополучие: «...какая разница между им и тобою, – эпистограф предлагает Бакунину сравнить себя с Ключниковым, – он ревматик, он расслабленный, а ты здоров и крепок <...>, – затем, подавая ему пример, сравнивает с Ключниковым самого себя, – в моем падении виноват я сам, моя беспорядочная жизнь, <...> в этом отношении между мною и Ключниковым большая разница. Этот человек всегда болен, теперь он слег от болезни...» [Белинский, 1956, с. 165]; «...Ефремов <...> человек слабый, и обстоятельства на него имеют большое влияние» [Белинский, 1956, с. 199]. По мысли Белинского, насколько с Ефремова и Ключникова можно частично снять вину за духовно-нравственное недоразвитие, возложив ее на внешние обстоятельства жизни (нездоровье, бедность, дурное воспитание и окружение и т. п.), настолько с Бакунина нужно частично снять заслугу в большем духовно-нравственном преуспевании. Итак, Белинский и через литературные портреты выходит к основному предмету спора с Бакуниным – и вновь, приводя на этом материале целую систему доказательств, отстаивает свою точку зрения: внутренняя жизнь тесно связана с внешней и испытывает на себе ее влияние, – ту точку зрения, которая сходным образом подтверждалась и на материале автобиографии.

Вообще широко введенные в переписку эмпирические, взятые из внешней жизни биогра-

фические сюжеты, как и автобиографические, сами по себе развенчивали сугубо отвлеченную позицию Бакунина, убеждая, что отграничиться от внешней жизни, сосредоточившись только на внутренней, – невозможно и ошибочно. Таким образом, на новом уровне и достаточно многообразно реализовывалась интенция проповеди. Биографические и автобиографические сюжеты играли в ней роль притчевых, а поскольку традиция включать притчи в проповедь – библейская, они отчасти, на уровне подтекста, сакрализовали учительное слово Белинского, повышая его авторитетность.

Заключение

Итак, в 1837 г. Белинский в переписке с Бакуниным всецело увлечен полемикой. Он надеется быть услышанным, (пере)убедить своего эпистолярного собеседника, сохранить и укрепить дружбу с ним. Этим целям отвечали жанры исповеди и проповеди, ведущие в переписке Белинского с Бакуниным 1837 г., – а также «продолжающие» и «поддерживающие» их многочисленные «смежные» жанры, в числе которых наиболее важную роль играли автобиография, биография, литературный портрет, дневник. Каждый из них давал свои возможности, работая на намеченные автором цели. Представленные в синтезе, эти жанры должны были организовать предельно эффективный эпистолярный диалог. Вместе с тем от 1837 к 1839 г. он все более очевидно заходил в тупик. Каждый из его участников стоял на своем, исповедь планомерно вытеснялась проповедью. Но «смежные» жанры, к числу которых со временем добавилась литературно-критическая статья, не позволили неполучившемуся диалогу переключиться в монолог. Разнообразя и обогащая эпистолярное общение, они открывали ему и его участникам новые, еще не осознававшиеся ими перспективы.

Библиографический список

1. Барахов В. С. Литературный портрет. (Истоки, поэтика, жанр). Ленинград : Наука, 1985. 312 с.
2. Бахтин М. М. Смысловое целое героя // Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. Москва : Искусство, 1979. С. 121–161.
3. Белинский В. Г. Полн. собр. соч.: В 13 т. Т. 11. Письма. 1829–1840. Москва : Изд-во АН СССР, 1956. 718 с.
4. Березина В. Г. Белинский и Бакунин в 1830-е гг. // Ученые записки ЛГУ. 1952. № 158. Сер. Филологические науки. Вып. 17. С. 34–86.
5. Вьолле К., Гречаная Е. П. Дневник в России в конце XVIII – первой половине XIX в. как автобио-

графическая практика // Автобиографическая практика в России и во Франции. Сб. ст. / под ред. К. Вьолле и Е. Гречаной. Москва : ИМЛИ РАН, 2006. С. 57–111.

6. Дамаскин И. Слово о страстях и добродетелях / пер. с еллино-греч. Издание Козельской Введенской Оптиной пустыни. Москва, 1873. 16 с.

7. Дмитриев А. П. Портрет в церковной проповеди как литературно-критический жанр (О «поучениях» архиепископа Никанора (Бровковича)) // Русский литературный портрет и рецензия. Концепции и поэтика / ред.-сост. В. В. Перхин. Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2000. С. 5–16.

8. Егоров О. Г. Русский литературный дневник XIX века. История и теория жанра. Москва : Флинта: Наука, 2003. 279 с.

9. Елизаветина Г. Г. На путях к литературоведческому освоению жанра // Вопросы литературы. 1986. № 9. С. 238–244.

10. Зорина Т. П. К проблеме эпистолярного жанра // Ученые записки Московского гос. пед. ин-та иностранных языков им. Мориса Тореза. Вопросы романо-германской филологии. Москва, 1970. Т. 55. С. 38–44.

11. Калугин Д. Я. Проза жизни: русские биографии в XVIII–XIX вв. Санкт-Петербург : Изд-во Европейского ун-та в Санкт-Петербурге, 2015. 260 с.

12. Кознова Н. Н. Дневники, письма, мемуары: к вопросу о взаимодействии жанров // Вестник Московского гос. областного ун-та. Сер. Русская филология. 2009. № 1. С. 137–143.

13. Коньков В. И. Литературный портрет как речевая система («Некрополь» В. Ф. Ходасевича) // Русский литературный портрет и рецензия. Концепции и поэтика / ред.-сост. В. В. Перхин. Санкт-Петербург : Изд-во Санкт-Петербургского ун-та, 2000. С. 33–37.

14. Мезенцев М. Т. Литературный портрет как жанр критики // Филологические этюды. Сер. Журналистика. Вып. 1. Ростов-на-Дону, 1971. С. 73–80.

15. Митина С. И. Философский эго-текст как презентация личности мыслителя // Вестник Челябинского государственного университета. 2008. № 10. С. 138–141.

16. Михайлова М. В. Молчание и слово (Таинство Покаяния и литературная исповедь) // Метафизика исповеди. Пространство и время исповедального слова / отв. ред. М. С. Уваров. Материалы междунар. конф. (Санкт-Петербург, 26-27 мая 1997 г.) Санкт-Петербург : Изд-во Ин-та Человека РАН (СПб. Отделение), 1997. С. 9–14.

17. Михеев М. Дневник как эго-текст (Россия, XIX–XX). Москва : Водолей Publishers, 2007. 264 с.

18. Пригарина А. С. Религиозная исповедь как прототип общелитературных жанров // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. Тамбов, 2011. № 5 (11): В 4 ч. Ч. 2. С. 148–152.

19. Симоне-Тенан Ф. Три российских женских дневника // Автобиографическая практика в России и во Франции. Сб. ст. / под ред. К. В'олле и Е. Гречаной. Москва : ИМЛИ РАН, 2006. С. 148–160.

20. Тихонова Е. Ю. О некоторых источниковедческих аспектах издания переписки В. Г. Белинского // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.). Москва : Ин-т рос. истории РАН, 2003. С. 227–243.

21. Тихонова Е. Ю. Человек без маски. В. Г. Белинский: Грани творчества. Москва : Совпадение, 2006. 279 с.

22. Уваров М. С. Архитектоника исповедального слова. Санкт-Петербург : Алетей, 1998. 245 с.

23. Чубаров И. С. Операция признания (Anerkennen) в биографии (опыт биографического анализа отрывка «Феноменологии духа» Г. В. Ф. Гегеля о «господстве и рабстве») // Авто-био-графия. К вопросу о методе. Тетради по аналитической антропологии. № 1. / под ред. В. А. Подороги. Сер. «Ессе homo». Москва : Логос, 2001. С. 387–412.

Reference list

1. Barahov V. S. Literaturnyj portret. (Istoki, pojetika, zhanr) = Literary portrait. (Origin, poetics, genre). Leninograd : Nauka, 1985. 312 s.

2. Bahtin M. M. Smyslovoe celoe geroja = The hero's semantic whole // Bahtin M. M. Jestetika slovesnogo tvorchestva. Moskva : Iskusstvo, 1979. S. 121–161.

3. Belinskij V. G. Poln. sobr. soch.: V 13 t. T. 11. Pis'ma. 1829–1840 = Complete works: In 13 vols. V.11. Letters 1829–1840. Moskva : Izd-vo AN SSSR, 1956. 718 s.

4. Berezina V. G. Belinskij i Bakunin v 1830-e gg. = Belinsky and Bakunin in 1830s. // Uchenye zapiski LGU. 1952. № 158. Ser. Filologicheskie nauki. Vyp. 17. S. 34–86.

5. V'olle K., Grechanaja E. P. Dnevnik v Rossii v konce XVIII – pervoj polovine XIX v. kak avtobiograficheskaja praktika = Diary in Russia in the late XVIII – first half of the XIX century as an autobiographical practice // Avtobiograficheskaja praktika v Rossii i vo Francii. Sb. st. / pod red. K. V'olle i E. Grechanoj. Moskva : IMLI RAN, 2006. S. 57–111.

6. Damaskin I. Slovo o strastjah i dobrodeteljah = Speaking of passions and virtues / per. s ellino-grech. Izdanie Kozel'skoj Vvedenskoj Optinoj pustyni. Moskva, 1873. 16 s.

7. Dmitriev A. P. Portret v cerkovnoj propovedi kak literaturno-kriticheskij zhanr (O «pouchenijah» arhiepiskopa Nikanora (Brovkovicha)) = Portrait in church sermons as a literary and critical genre (On the «preaching» of Archbishop Nicanor (Brovkovich)) // Russkij literaturnyj portret i recenzija. Konceptii i pojetika / red.-sost. V. V. Perhin. Sankt-Peterburg : Izd-vo Sankt-Peterburgskogo un-ta, 2000. S. 5–16.

8. Egorov O. G. Russkij literaturnyj dnevnik XIX veka. Istorija i teorija zhanra = Russian literary diary of the 19th century. History and theory of the genre. Moskva : Flinta: Nauka, 2003. 279 s.

9. Elizavetina G. G. Na putjah k literaturovedcheskomu osvoeniju zhanra = Toward the literary study of the genre // Voprosy literatury. 1986. № 9. S. 238–244.

10. Zorina T. P. K probleme jepistoljarnogo zhanra = To the problem of the epistolary genre // Uchenye zapiski Moskovskogo gos. ped. in-ta inostrannyh jazykov im. Morisa Toreza. Voprosy romano-germanskoj filologii. Moskva, 1970. T. 55. S. 38–44.

11. Kalugin D. Ja. Proza zhizni: russkie biografii v XVIII–XIX vv. = Prose of life: Russian biographies in XVIII–XIX centuries. Sankt-Peterburg : Izd-vo Evropejskogo un-ta v Sankt-Peterburge, 2015. 260 s.

12. Koznova N. N. Dnevniki, pis'ma, memuary: k voprosu o vzaimodejstvii zhanrov = Diaries, Letters, Memoirs: on the interaction of genres // Vestnik Moskovskogo gos. oblastnogo un-ta. Ser. Russkaja filologija. 2009. № 1. S. 137–143.

13. Kon'kov V. I. Literaturnyj portret kak rechevaja sistema («Nekropol») V. F. Hodasevicha = Literary portrait as a speech system («Necropolis» by V. F. Khodasevich) // Russkij literaturnyj portret i recenzija. Konceptii i pojetika / red.-sost. V. V. Perhin. Sankt-Peterburg : Izd-vo Sankt-Peterburgskogo un-ta, 2000. S. 33–37.

14. Mezencev M. T. Literaturnyj portret kak zhanr kritiki = Literary portrait as a genre of criticism // Filologicheskie jetjudy. Ser. Zhurnalistika. Vyp. 1. Rostov-na-Donu, 1971. S. 73–80.

15. Mitina S. I. Filosofskij jego-tekst kak reprezentacija lichnosti myslitelja = Philosophical ego-text as a representation of the philosopher's personality // Vestnik Cheljabinskogo gos. un-ta. 2008. № 10. S. 138–141.

16. Mihajlova M. V. Molchanie i slovo (Tainstvo Pokajaniya i literaturnaja ispoved') = Silence and words (Sacrament of Penance and literary confession) // Metafizika ispovedi. Prostranstvo i vremja ispovedalnogo slova / otv. red. M. S. Uvarov. Materialy mezhdunar. konf. (Sankt-Peterburg, 26-27 maja 1997 g.) Sankt-Peterburg : Izd-vo In-ta Cheloveka RAN (SPb. Otdelenie), 1997. S. 9–14.

17. Miheev M. Dnevnik kak jego-tekst (Rossija, XIX–XX) = Diary as eco-text (Russia, XIX–XX). Moskva : Vodolej Publishers, 2007. 264 s.

18. Prigarina A. S. Religioznaja ispoved' kak prototip obshheliteraturnyh zhanrov = Religious confession as a prototype of general literary genres // Istoricheskie, filosofskie, politicheskie i juridicheskie nauki, kul'turologija i iskusstvovedenie. Voprosy teorii i praktiki. Tambov, 2011. № 5 (11): V 4 ch. Ch. 2. S. 148–152.

19. Simone-Tenan F. Tri rossijskih zhenskikh dnevni-ka = Three Russian women's diaries // Avtobiograficheskaja praktika v Rossii i vo Francii. Sb. st. / pod red. K. V'olle i E. Grechanoj. Moskva : IMLI RAN, 2006. S. 148–160.

20. Tihonova E. Ju. O nekotoryh istochnikovedcheskih aspektah izdanija perepiski V. G. Belinskogo = On some source aspects of publishing V. G. Belinsky's

correspondence // Issledovanija po istochnikovedeniju istorii Rossii (do 1917 g.). Moskva : In-t ross. istorii RAN, 2003. S. 227–243.

21. Tihonova E. Ju. Chelovek bez maski. V. G. Belinskij: Grani tvorcestva = Man with no mask. V. G. Belinsky: Facets of creativity. Moskva : Sovpadenie, 2006. 279 s.

22. Uvarov M. S. Arhitektonika ispovedal'nogo slova = Architectonics of confessional speech. Sankt-Peterburg : Aletejja, 1998. 245 s.

23. Chubarov I. S. Operacija priznanija (Anerkennen) v biografii (opyt biograficheskogo analiza otryvka «Fenomenologii duha» G. V. F. Gegelja o «gospodstve i rabstve») = The operation of recognition (Anerkennen) in biography (experience of analyzing G. W. F. Hegel's Phenomenology of Spirit, a passage on «dominance and slavery») // Avto-bio-grafija. K voprosu o metode. Tetradi po analiticheskoj antropologii. № 1. / pod red. V. A. Podorogi. Ser. «Esse homo». Moskva : Logos, 2001. S. 387–412.

Статья поступила в редакцию 09.03.2022; одобрена после рецензирования 20.03.2022; принята к публикации 28.04.2022.

The article was submitted on 09.03.2022; approved after reviewing 20.03.2022; accepted for publication on 28.04.2022